

Я посетил сей город странный
с вечерней осенью костров.
Гламурным светом рестораны
смущали сумерки дворов.
Огни вальяжные салонов,
парадный лоск и хлад дверей,
дерев подстриженных колонны
венчали лики фонарей.
Цветной раскручивался спектр:
витрины, вывески, листва,
шли по гекзаметрам проспектов
автомобильные слова.
Я шёл туда, где жил великий
на тихой улице, а там
толклись назойливые блики
предпринимательских реклам.
И я уже любил заране
тот дом в приглушенных огнях,
где кротким обликом герани
окно в моих светилось днях.
Я шёл, заглядывая в лица,
пытаясь видеть в них родство
с его лампадною столицей,
с мятежным профилем его.
Но люди, двигаясь навстречу,
меня толкали на пути,
как будто этот синий вечер
мешал им счастье обрести.

И оставлял без пониманья
меня обыденный народ.
Казалось: вечность этих зданий
не стоит мига их забот...
Казался мне сей город странный
живым гигантским существом,
помпезно-каменно-стеклянным
мифологичным божеством;
с организованною жизнью,
где правил свой особый рок,
и будни дальних, будни ближних
ввергал в один кровопоток.
И я в его крововращенье –
как бы случайный, лишний ген,
и подвергался возмущенью
холодных плит его и стен...
Прожектора свивались нимбом
над зданьем стройным, как сонет,
и экзальтированные нимфы
слетались на зелёный свет...
Меня привёл туда небритый
какой-то тип и отвечал:
– Вот этот дом. Здесь Маргарита
была предтечей двух Начал».
Смиренней, чем минор опалы,
я озираю и дом, и двор:
толклись кокетливые пары,
дежурный стался разговор –

о презентабельности, вкусе,
о ценах, пенсиях, дожде.
И спор о долларовом курсе
топтал стенанья о нужде.
Старуха с сеткою бутылок,
скамья с подпитым мужичком,
атлета выбритый затылок
над иномаркой с маячком.
Несло жильём густым и острым!..
Я удивлялся в свой черёд,
что можно буднично и просто
здесь жить в сетях иных забот.
Тоской повеяло окопной
и мглой породистых собак.
А впрочем, вот подъезд и окна,
и в окнах зыбкий полумрак...
Качнулись призрачные тени
из потревоженных углов
и на исписанные стены
пролились блики куполов.
Я поднимался по ступеням,
в груди волнение затая,
шипением злобным и сипением
пронизан воздух бытия.
Вдруг жуткий хохот по затылку
ударил холодом невзгод –
рот перекошенный ухмылкой,
отверстой бездной чёрный рот.
«Ну вот и он, посланник вещей» –
подумал, глядя в полость рта.
– Я – Воланд!– просипел зловеще, –
Хвала биографу Христа!»
Поди, актёр из пантомимы
глумится здесь, вгоняя в страх:
лицо задёрнутое гримом,
оттенок синий на щеках,
и чёрный рот, и зубы чёрны,
и волос перьями – сатир!
Он со ступеней встал проворно
и вновь представился:»Мессир!»
– А я – поэт!»– сказал Мессиру,
и вдруг откликнулось: «Поэт!..
Ещё один поэт в квартиру!»
И хохот ринулся вослед
по жёлтым плитам потолочным,
перилам, стенам и дверям,
по ржавым трубам водосточным,
и вверх, и вниз по этажам!
Кружка обёртку шоколадки,
окурки, пробку от пивной...
Я оглянулся: на площадке
юнцы смеялись надо мной.
Скорей химеры новой моды
кривлялись, корчились, тряслись,
и вопли пасмурной погоды
визжащей кошкою неслись.
Мессира пёстрые вассалы!..
А на стене – качаясь в лад –
юница бледная писала
губной помадою: «Во Ад!»
То ль отравяясь болотным газом,
то ли ударена трубой, –
она задёргалась в экстазе,
сплетая руки над собой!

И что за сила в этом теле
ломала крайнюю комедь?
Иль родилась она за тем лишь –
здесь расписавшись, умереть?
Я дерзко их призвал к покою!
И кто-то тихо попросил:
«Прочти нам что-нибудь такое,
чтобы все свалилось у перил».
Я прочитал им про шахтёров,
о жизни в чёрных небесах,
о белом голубе просторов,
о ветре угольном в глазах.
Я видел! Стены задрожали
и наклонились на излом.
Качнулось всё! Они стояли
с непроницаемым лицом.
«Коврижных выраженный ржавень» –
как скрежет юноша изрёк –
Иван Нифонтович Державин,
от Лири Тимоти пророк,
адепт искусственной химеры,
юнец с косичкой и серьгой...
«Мы из другой ментальной сферы,
мы от эстетики другой.
С тобою грустно нам и зябко,
нас от стихов своих – уволь...
На, вот возьми с собою «ляпку»,
сними печаль свою и боль...»
Противно двери заскрипели
и вот уже другого дня
визгливый голос: «Надоели!
Бомжи!..Фанаты!..Наркотня!..»
Я не сменял на их наркотик
земной юдоли благодать.
Смотрели пристально напротив
глазами цифры «50».
Я в эту дверь не стал стучаться,
хоть вход и не был мне закрыт, –
боялся разочароваться:
а вдруг и там – мордастый быт?..

Прощай, обкуренный, увечный,
от Лири Тимоти эстет!
Чтоб пребывать в блаженстве вечном,
рождаться незачем на свет.
Прощайте, птицы героина!
Прощай, игрушечный мессир!
Тебя из мрака гуталина
великий Мастер воскресил.
И лишь в его астральной власти
тебе соперничать с Христом.
Здесь жил последний в мире Мастер,
посредник меж добром и злом.
Он ничего мне не ответил,
он лишь ослабил бездной рот.
И, как из шахты, чёрный ветер
повеял холодом пустот.
Я возвращался в город странный
из латаргических миров
в помпезно-каменно-стеклянный
с вечерней осенью костров.

Фонарь узорчатый наддверный,
шаров чугунных стройный ряд.

Подумал я: Арбат, верно.
И мне ответили: Арбат.
Качнулся свет луны горбатой
и по велению высот
над синим вечером Арбата
арбатский вспыхнул небосвод...
Я здесь бывал в мечтах, заочно,
в давнишних снах своих бывал.
И вот теперь Арбат воочью
и зрячим сердцем узнавал.
Вон там, должно быть, – антикварный?
И через несколько шагов –
лампады меди самоварной
томились в сумерках веков.
И узнавал я: магазины,
ларьки, киоски и лотки,
афиши, вывески, витрины,
мемориальные венки.
А здесь жил песенный романтик –
и вот уже гитарный звон
ведёт фасад в ампир и антик,
и в зябкий траур похорон.
И проецировались сцены,
почти придуманные мной.
Я открывал глаза, и стены
мерцали памятью родной...
А там – художники, должно быть,
свои картины продают? –
Сидят художники! У ног их –
картин арбатовский уют.
Цвета и запахи – о, Боже –
мои напоминают сны,
и так же лицами похожи,
и тот же стульчик у стены!..
– Ты нарисуй меня в столице
на фоне уличных дворов?»
И он меня рисует птицей
с вечерней осенью костров.
– Ты, верно, знал меня заране, –
узнал, узнал какой я есть?»
– Ты снился мне в окне с геранью
и подавал благую весть...
Платите доллар за портретик...»
Такой портретик я хочу.
Ну, а поскольку валюты нету,
по курсу доллара плачу.
Потом купил у генерала
я ром, что Стивенсон любил.
И там же – виллу на Канарах
за двадцать долларов купил.
Он выдал паспорт мне престижный,
где без труда могли узнать:
«Владелец виллы В. Коврижных»
И ниже подпись и печать.
И прилагалось фото виллы
с бассейном, пальмой и авто.
(Жаль, никого не удивил я –
не верит паспорту никто).
«...плывёт в тоске необъяснимой...» –
С необъяснимым блеском глаз
толпа юнцов проходит мимо,
впадая в медленный экстаз.
И я так странно замечаю,
что интонацией такой

я поневоле совпадаю
с «необъяснимою тоской»...
И снова воздух тёмно-синий
колышет жёлтые огни,
на голос хриплого мессии
бегут озвученные дни.
А также вывески, витрины,
решётки, окна, фонари,
афиши, лавочки, картины
и смуглый пасынок зари.
И голоса былых великих,
для утверждения основ,
несли серебряные блики
и в них родные лица снов.
И надвигалось следом небо
цветное, как павлиний хвост,
в наклейках фирменных и лейблах
и в именах эстрадных звёзд.
Но это небо – ниже Слова.
Раздался возглас петуха.
Толпою пёстрой и попсовой
предстало воинство Греха.
Порок старался быть идейным.
Наркотик, пошлость, топ-модель
от Кафки, Моррисона, Рейна,
а шлюха – Кант Эммануэль!
Оно гламурилось, кривлялось,
ведя тусовочную речь.
И так назойливо старалось
к себе внимание привлечь.
Кто плотской хохмой сибарита,
кто разрисованной щекой.
А нагло наголо обритый
гремел цепями и сергой.
Эроты графа Графомана
фальцетом выли словеса
от Шахрина до Губермана –
визжала радостью попса!
Презерватив надутый голой
девицей, медленно взлетел,
фанатов «Фанты» и футбола
восторг дебильных децибелл.
И пудель кукольных баталий,
с блатной нирваной наркоман,
и смотр рекламных гениталий
альфонсов, фавнов и путан.
Глумилось синим апельсином
лицо под чёрным котелком,
воняло завистью и псиной,
гашишем, чёртом и козлом!
Средь опереточного грома
я был чужим здесь и смешным,
с любовью к Родине и дому,
с любовью к женщинам земным.
С душевной психикой нормальной
среди павлинов и педрил
я оказался аномальным,
из гамадрилов гамадрил!..
Хрустел доллар и картофель,
банан облизывал язык,
а депутат, как Мефистофель
смеялся, в полночь скаля клык.

Среди компьютерного бреда

разрекламированных лиц
я вдруг подумал, что здесь нету,
здесь нету ангелов и птиц.
И вдруг из клики аморальной
она явилась птицей мне:
с крылами белыми из марли
на скорбно согнутой спине.
– Ты, верно, к нам пришла от Бога?
Что ищешь ты средь зланных лиц?»
– Там самолётов слишком много
и мало ангелов и птиц...
Хочу в своё вернуться небо,
да не могу его найти...»
Её лицо блее снега
меня расстрогало почти.
– Я видел небо за рекою.
Пойдём туда, где Божий храм!
Там звёзды плачутся росой
в густые травы по утрам!
А здесь, увы, иная сфера,
лишь прикрывает стыд и срам.
Пойдём за тем милиционером
туда, где светит белый храм!...»
И мы вошли в его пределы,
и там, с надеждою в глазах,
крылом взмахнула и – взлетела!
И – растворилась в небесах...

Меня окликнул бодрым словом,
как в прошлых угольных мирах,
шахтёр знакомый из Белова
с разбитой каскою в руках.
Его я обнял, словно брата,
и я спросил его, как брат»
«Чего ты шляешься Арбатом,
зачем тебе такой Арбат?
И что ты уголь не копаешь,
тебя, поди, на шахте ждуть?»
И он ответил мне: «Ты знаешь,
нам год зарплату не дают...»
И он ответил мне, как брату,
что здесь он лозунги кричит,
что на мосту живёт Горбатом, –
в пикете каскою стучит.
«Пойдём со мною на Горбушку»
Приём тебе, как королю!
Твои стихи сильней, чем пушки –
шарахни словом по Кремлю!
И вмиг – отставка президента,
и вновь мы славно заживём!
Не упусти судьбы момента –
рази их словом, как огнём!..»
«За историческим моментом
опять последует момент.
И за отставкой президента
придёт обратно президент» –
ему ответил я, как брату,
и он простил меня, как брат.
Потом во двореке Арбата
мы пили с братом за Арбат
могучий ром густой и знойный,
который Стивенсон любил.
И было тихо и спокойно
в душе и в памятях ветрил.

Я разговаривал с раввином.
С печалью глядя мне в глаза,
он говорил, что по равнинам
взошли нацизма голоса.
«... вновь гроздя ненависти зреют
и вновь покой не обрести.
Нет места бедному еврею
на богоизбранном пути...»
Я пожалел его в итоге.
И, чтоб утешить, предложил:
«Хотите в вашей синагоге
прочту стихи о том, как жил
на русской родине, в Бачатах,
где в поле ветер-разгуляй,
где в палисадниках дощатых
поёт черёмуховый май.
Зелёной дудочкой владея,
мы одолеем зло равнин...»
«Нет, нет! Там место иудеям!» –
сказал, нахмурившись, раввин.
И боль несчастного Иуды
слезой скатилась на пальто...
«За что же вас не любят люди?» –
Вопросом молвил мне: «За что?..»

Как звездочёт за вдохновеньем,
чтоб завершить свои труды,
иду строкой стихотворенья
за новой вспышкой озаренья
на Патриаршие пруды.
Пасхальным золотом облиты
скамьи, деревья и в века,
как патриаршие молитвы,
плывут на синем облака.
Как на земле моей бачатской,
как в первозданной тишине,
любовью веяло и счастьем!
...И были тут виденья мне.
Вначале радужные блики
затем во горних облаках
зажётся Будда синеликий
с трёхгранным символом в руках:
«Соседство трёх цивилизий,
трёх равнозначных высот
закончит цепь реаркараций –
Живая Этика взойдёт!» –
Сказал и в облак растворился
в прозрачной горней синеве,
лишь звук, как эхо, отразился
невнятным шорохом в траве.
А следом – Он, наверно, – Боже!
Раздвинул властно небеса,
предстал сияньем невозможным
и ослепил мои глаза:
« Ты – миг придуманного года!
В нём твой придуманный господь.
Носи его любовь к народу,
пока свою не сносишь плоть!
Ты, дерзким духом одержимый,
в иное веришь бытие.
Ты сам себе – непостижимый.
То – отражение Моё!..»
Кажись, сияния померкли.
Открыл глаза – лёт облаков.

И с куполов окрестной стержни
пролился плач колоколов.
Предстал другой сияньем строгим,
в чалме зелёной и изрёк:
«Цени не только цель дороги,
цени достоинство дорог!»
Я думал: кончились виденья.
Ан нет! – Предтечу протеч –
Пророк, как в том стихотворенье,
с Талмудом огненным у плеч.
Изрёк Мудрец из Ветхой Веры:
«Добро и Зло не осуждай.
Люби людей, но равной мерой
и равным гневом воздавай.
Своею жертвенною кровью
не орошай пути свои.
Не называй любовь Любовью,
а злобу Злом не назови...» –
Сказал Мудрец и жёлтой птицей
шмыгнул в задумчивость ветвей,
как шелестящая страница
из Ветхой летописи дней...
Потом ещё мессии были
и растворялись вдали,
глаза назойливо слепили,
и речи всякие рекли.
Усталой жизнью человека
уснуть хотелось мне на век,
когда из каменного века
пришёл язычник – Дровосек.
Поднял топор и – блеск столицы
на звонких гранях заиграл:
«На этой грани пела птица,
на этой ворог зло скликал.
Отсюда начато движенье
во славу, радость и печаль.
Он двух Начал – вражда, сраженье
и примиренье двух Начал.
И ты, и пруд, и мир весь сущий
есть примирение и свет», –
вручил топор мне и за гущей
деревьев свой упрятал след...
–11–

Дерев качнулось отраженье,
качнулся тихий небосвод.
И облака, как сны блаженных,
скользнули в ризы синих вод.
Шептались тихие берёзы
словами детства и любви,
что проступили следом слёзы
испедальные мои.
Что там, в Бачатах, зреет праздник,
горит в лугах вечерний свет,
что снова смотрит в палисадник
звезда черёмуховых лет.
А я тут шляюсь по столице
в богоискательстве своём.
Чужая жизнь, чужие лица.
Зачем оставил отчий дом?
Там вновь родители с тоскою
вздыхают, выбившись из рук, –
опять одни картошку роют,
а мне б помочь – да недосуг!

Что без меня латает крышу
жена, на всех срывая зло,
что снова в стайке пол прогнивший,
в окно не вставлено стекло!..
Так сокрушался я, вздыхая,
что жизнь нелепа и смешна,
и несуразная такая,
и никому-то не нужна.
И как найти опоры точку
в моём родительском краю?
И оправдать хотя бы строчкой
всю жизнь нескладную свою.
Потом уйти с моей страницы
в лесов задумчивую медь...
В лесных просторах заблудиться
и тихой песней умереть...
–12–

Меня нашёл Мутант прогресса
с научной мыслью на устах.
Он мне поведал с интересом,
что ждёт нас в будущих веках:
«Закон физический – Основа!
И мера нравственных доктрин.
Взойдёт в эфир иное Слово
от электрических машин».
Я молча выслушал Мутанта,
его напутственный совет:
бесстрастной сути доминанта
перереждала в схемы Свет.
Внёс речь его в свои «скрижали».
И вдруг узрел – едрена мать! –
его расчисленные дали –
не смею вам их показать...
Я написал главу и мыслью
взлетел на сотни лет вперёд:
освоив ангельские выси,
Мутант клонировал народ.
И я подумал: прав был Гоголь,
когда сжигал «вторую часть».
Поди, и он увидел бога –
Технократическую Власть?..
Я сжёг главу, лишь для намёка
оставил первую строку:
–13–

«Грядёт компьютерный Мессия...»
–14–

... зловещий фон кровоподтёком
разслылся по черновику.
Зелёным пламенем обвитый,
горел в огне главы металл.
И я стоял, как инквизитор,
и местью праведной пылал.
Горела, как живое тело,
и мукой корчилась в огне.
А на душе моей светлело
и становилось легче мне.
Когда истлел в костре мятежном
Мутанта страшный календарь,
душа наполнилась надеждой,
предсталась в ясном свете даль...
–15–

...А что, подумал я, такого?..

Пока дремали сторожа,
я заглянул в начало Слова,
душой волнуясь и дрожа.

Я в щелку узенькую глянул
и тихо вздрогнула душа:
увидел домик и поляну,
и на поляне малыша.

Он горько плакал одинокий
неподалёку от ворот,
малыш трёхлетний, босоногий,
вареньем выпачканный рот.

Пожалуй, только успокоить
и утереть лицо потом,-

вытер рот ему платком
спокойно, нежно и легко я.
Однако, на меня похожий,-
подумал так и в тот же миг
прошёл волной мороз по коже
и в ужас выплеснулся крик!

Я оглянулся: завывали
ветра неведомой зимы,
направо речки побежали,
налево сдвинулись холмы.
Менялось всё!.. Над водокачкой
раздался хохот с высоты
и следом снег, густой и мрачный,
упал в зелёные кусты.

И Голос гулким водопадом
пролился в русло бытия:
«Тебе смотреть туда не надо! –
В грядущем плачет кровь моя!..»

–16–

Я покидал тебя, столица,
без сожалений и обид
на озабоченные лица,
на суетливый мелкий быт.

Я побродить хотел бы снова
вечерней, улочной тобой.
Но мне пора. К тому ж Лужкова
указ о визе гостевой.

Пора на родину, в Бачаты,
в родную память прошлых дней,
где в жизнь мою навек впечатан
закат малиновых огней.

Прощай, Москва!.. Небезразличный
к твоим дворцам и куполам,
ты лишь не стала симпатичной,
посколь была Московской столичной,
как и положено москвям.

Прощай, Арбат, цветок летящий
на приземлённый небосклон.
И вы, пруды, что Патриарши,
с водою синею икон.

И вы, огни толкучных улиц,
и вы, кремлёвские шатры...

Я уходил. Не оглянувшись
твои помпезные дворы.
Лишь беломраморные кони
мелькнули вслед мерцаньем свеч!..

(Они потом меня догонят
и будут дни мои беречь).

Я уходил в свой день заветный
под шорох сумрачных дворов,
с любовью тихой, безответной,
с вечерней осенью костров.

Туда, где искренние люди,
где незатейливый уют.

Лишь только там меня полюбят,
лишь только там меня поймут...

Иду от площади брусчатой,
со мной завещанный топор.

Иду в страну мою, Бачаты,
чтоб там построить свой Собор.

–17–

Я заложил в фундамент слово.
(звучит банально – спору нет.)

Лучом пронзительным основа
мне обозначила сюжет:
какой фасад, какие стены,
какие окна и притвор...

Так незаметно, постепенно
возник замысленный Собор.

...Пошли венцы согласным рядом,
зарядом света и тепла,
сквозным узорчатым нарядом
от стройных окон до угла!

А в окна стенок вертикальных
я вставил множество икон
и поселил в них гениальных
со всей земли, со всех времён.

А наверху, где бродят громы,
и обмирает тишина,
я топором срубил огромных
четыре стрельчатых окна.

Во всём доверяюсь глазомеру,
я завершил дальнейший путь:
собой сомкнули окна сферу,
да так, что их не разомкнуть!

Простым сияньем незабудок
я поместил в тех окнах Свет:
Христа, Мухаммеда и Будду,
и Мудреца из Ветхих лет.

Здесь будет просто им, удобно.
Я докажу: так может быть!

Что сердце русское способно
четыре Света примирить!

Но увенчал я купол Солнцем!
Пусть будет господом моим,

чтоб всем во мраке полусонном
Он освещал дороги к Ним...

В свой храм зашёл я на рассвете,
когда закончились дела:
цвёл летний день. Смеялись дети
и речка тихая текла.

Потом топор свой знаменитый
я запустил в грядущий век.
(Похоже, снял его с орбиты
и мне вручил бог Дровосек).

Растаял точкой незаметной
топор в высоких облаках.

И я подумал: жизнь бессмертных
у смертных держится в руках.

«...и кто любит сына и дочь более,

чем Меня, не достоин Меня...»
(от Матфея, гл.10, п.37)
В сомненьях тягостных робею...
То ль чую смертную беду?..
В храм к благочинному Сергею
я исповедаться иду...

Вошёл и в пояс поклонился,
но строгим взглядом встретил он:
– Вошёл и не перекрестился?..
– Я не могу... Я не крещён...
– Твой путь исканий необычный.
Так, чьих ты, праведник, идей?
– Я – литератор. Я – язычник,
и с верой собственной, своей.
Своей довольствуюсь молитвой,
иконой мне – окно моё.
Там светом утренним облиты
луга. И ласточка поёт.
И я бы отдал душу Аду
за мир и счастье на Земле...
– Искать свой путь, конечно, надо.
Но ты скитаешься во мгле...
Пойдём во двор, негоже в храме
вести с тобою разговор...

Так как могу помочь словами,
когда есть собственный собор?
– Я не пытаюсь вас обидеть,
я в ваших искренних словах
хочу, как в зеркале, увидеть:
чиста ль душа моя в делах?
И прав ли я в своих сомненьях?..
– Не в свете истинном твой путь.
Он весь – ошибки, заблуждения,
в них не отыщешь правды суть...
– Но путь сомнений – путь особый.
Пусть никуда не приведёт,
но сгину я – ошибкой, пробой –
за мной не двинется народ?..
– Всё ж ради славы и признанья
ты в заблуждениях творишь.
Пути бесплодного познания –
умов лукавых происк лишь...
– Я не люблю готовых истин.
В сомненьях помыслы чисты,
когда на радость людям ты
несёшь цветы душою чистой,
то станут истиной цветы?..
– Без веры истинной отравы
полны цветы твоих удач...
– Тогда и Он – заложник славы,
когда распял Его палач?!
Он знал, что будет Воскрешенье,
и будут в честь Его стихи!..
– То смерть – во имя искупленья!..
Он и твои простил грехи.
Не оскверняй святое Имя
заблудшим помыслом, пиит...
– А вдруг, глазами Он – моими
от Слова Нового глядят

на тех, кто верует и помнит?
Но ведь и я душой не слеп:
они выращивают бомбы,
а я выращиваю хлеб.
От Слова Нового Завета
смотрю на мир с тоской опять:
статьи доходные в бюджете –
на рынок бомбы поставлять.
И что Он думает сегодня,
когда доход, вернувшись к нам,
даёт довольство, свет Господний
и строит нравственность и Храм?..
Есть основания для сомненья.
И может, даже у Него...
– Твоих фантазий заблуждения
опровергаются легко:
всё ясно сказано в Заветах!
Сын Божий – не для праздных уст!
Я понимаю: для поэта
омега с альфой – всякий куст...
– За то, что принял смерть, как плату,
за прегрешения людей,
я полубил Его, как брата,
и принял суть Его идей,
хоть большей звал к Себе любви,
чем к сыну матери любовь.
Не оттого ль так много крови?
И в вашем Храме – тоже кровь.
Боль заложив в источник света,
пройти сквозь это просит всех...
Мой храм другой. И в храме этом
первоисточник – радость, смех...
Я, может быть, угоден тоже.
Есть и в блужданиях новизна.
И с Ним, возможно, в чём-то схожий,
поскольку цель у нас одна:
дать людям свет, любовь и силы,
чтоб счастье в жизни обрести...
– Вот в чём несчастья России –
за вами следует в пути!..
Коль цель ясна и есть дорога, –
чего искать? Чего блуждать?
Для всех открыто сердце Бога,
и каждый съест благодать...
– Для слабых духом та дорога.
А сильным – новый путь торить!
И стыдно сильному у Бога
любви и милости просить.
– А Бог и есть путь к новым знаниям.
А что несут пути твои?..
Ключи к успеху и признанию?
– Ключи от счастья и любви!
– Твои несбыточны усердия.
Ключ – Божий промысел и глас.
Ступай в свой путь. Пусть плачет сердце,
то – боль и стон Его о нас...

Потом добавил, глядя в землю,
рукою трогая скамью:
– Я по тебе свечу затеплю.
И помолюсь за ночь твою...